

Оноре де БАЛЬЗАК

Шагреновая кожа

/Происхождение испепеляющей жажды богатства: о юности Рафаэля/

Перевод В. Грифцова

Рафаэль немного помолчал, затем, беззаботно махнув рукою, начал:

-- Не знаю, право, приписать ли парам вина и пунша то, что я с такой ясностью могу в эту минуту охватить всю мою жизнь, словно единую картину с верно переданными фигурами, красками, тенями, светом и полутенью. Эта поэтическая игра моего воображения не удивляла бы меня, если бы она не сопровождалась своего рода презрением к моим былым страданиям и радостям. Я как будто гляжу на свою жизнь издали, и, под действием какого-то духовного феномена, она предстает передо мною в сокращенном виде. Та долгая и медленная мука, что длилась десять лет, теперь может быть передана несколькими фразами, в которых сама скорбь станет только мыслью, а наслаждение -- философской рефлексией. Я высказываю суждения, вместо того чтобы чувствовать...

-- Ты говоришь так скучно, точно предлагаешь пространную поправку к закону! -- воскликнул Эмиль.

-- Возможно, -- безропотно согласился Рафаэль. -- Потому-то, чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых семнадцати годах моей жизни. До тех пор я жил -- как и ты и как тысячи других -- школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий и подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний. Право, по тем овощам, которые нам тогда подавали каждую пятницу, мы, пресыщенные гастрономы, тоскуем так, словно с тех пор и не пробовали никаких овощей. Прекрасная жизнь, -- на ее трудности мы смотрим теперь свысока, а между тем они-то и приучили нас к труду...

-- Идиллия!.. Переходи к драме, -- комически-жалобным тоном сказал Эмиль.

-- Когда я окончил коллеж, -- продолжал Рафаэль, жестом требуя не прерывать его, -- мой отец подчинил меня суровой дисциплине. Он поместил меня в комнате рядом со своим кабинетом; по его требованию я ложился в девять вечера, вставал в пять утра; он хотел, чтобы я добросовестно занимался правом; я ходил на лекции и к адвокату; однако законы времени и пространства столь сурово регулировали мои прогулки и занятия, а мой отец за обедом требовал от меня отчета столь строго, что...

-- Какое мне до этого дело? -- прервал его Эмиль.

-- А, черт тебя возьми! -- воскликнул Рафаэль. -- Разве ты поймешь мои чувства, если я не расскажу тебе о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго потом не мог отрешиться от юношеской наивности? Итак, до двадцати одного года я жил под гнетом деспотизма столь же холодного, как монастырский устав. Чтобы тебе стало ясно, до чего невесела была моя жизнь, достаточно будет, пожалуй, описать моего отца. Высокий, худой, иссохший, бледный, с лицом узким, как лезвие ножа, он говорил отрывисто, был сварлив, как старая дева, придирчив, как

столоначальник. Над моими шаловливыми и веселыми мыслями всегда тяготела отцовская воля, покрывала их как бы свинцовым куполом; если я хотел выказать ему мягкое и нежное чувство, он обращался со мной, как с ребенком, который сейчас скажет глупость; я боялся его гораздо больше, чем, бывало, боялись мы наших учителей; я чувствовал себя в его присутствии восьмилетним мальчиком. Как сейчас вижу его перед собой. В сюртуке каштанового цвета, прямой, как пасхальная свеча, он был похож на копченую селедку, которую завернули в красноватую обложку от какого-нибудь памфлета. И все-таки я любил отца; в сущности, он был справедлив. Строгость, когда она оправдана сильным характером воспитателя, его безупречным поведением и когда она искусно сочетается с добротой, вряд ли способна вызвать в нас злобу. Отец никогда не выпускал меня из виду, до двадцатилетнего возраста он не предоставил в мое распоряжение и десяти франков, десяти канальских, беспутных франков, этого бесценного сокровища, о котором я мечтал безнадежно, как об источнике несказанных утех, -- и все же отец старался доставить мне кое-какие развлечения. Несколько месяцев подряд он кормил меня обещаниями, а затем водил в Итальянский театр, в концерт, на бал, где я надеялся встретить возлюбленную. Возлюбленная! Это было для меня то же, что самостоятельность. Но, застенчивый и робкий, не зная салонного языка, не имея знакомств, я всякий раз возвращался домой с сердцем, все еще не тронутым и все так же обуреваемым желаниями. А на следующий день, взнуданный отцом, как кавалерийский конь, я возвращался к своему адвокату, к изучению права, в суд. Пожелать сойти с однообразной дороги, предначертанной отцом, значило навлечь на себя его гнев; он грозил при первом же проступке отправить меня юнгой на Антильские острова. И как же я трепетал, иной раз осмеливаясь отлучиться на часок-другой ради какого-нибудь увеселения! Представь себе воображение самое причудливое, сердце влюбчивое, душу нежнейшую и ум самый поэтический непрерывно под надзором человека, твердокаменного, самого желчного и холодного человека в мире, -- словом, молодую девушку обвенчай со скелетом -- и ты постигнешь эту жизнь, любопытные моменты которой я могу только перечислить; планы бегства, исчезающие при виде отца, отчаяние, успокаиваемое сном, подавленные желания, мрачная меланхолия, рассеиваемая музыкой. Я изливал свое горе в мелодиях. Моими верными наперсниками часто бывали Бетховен и Моцарт. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о предрассудках, которые смущали мою совесть в ту невинную и добродетельную пору. Переступи я порог ресторана, я почел бы себя расточителем; мое воображение превращало для меня кофейни в притон развратников, в вертеп, где люди губят свою честь и закладывают все свое состояние; а что касается азартной игры, то для этого нужны были деньги. О, быть может, я нагоню на тебя сон, но я должен рассказать тебе об одной из ужаснейших радостей моей жизни, о хищной радости, впивающейся в наше сердце, как раскаленное железо в плечо преступника! Я был на балу у герцога де Наваррена, родственника моего отца. Но чтобы ты мог ясно представить себе мое положение, я должен сказать, что на мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забился в угол, чтобы вволю полакомиться мороженым и насмотреться на хорошеньких женщин. Отец заметил меня. По причине, которой я так и не угадал -- до того поразил меня этот акт доверия, -- он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В десяти шагах от меня шла игра в карты. Я слышал, как позвякивало золото. Мне было двадцать лет, мне хотелось хоть на один день предаться прегрешениям, свойственным моему возрасту. То было умственное распутство, подобия которому не найдешь ни в прихотях куртизанок, ни в сновидениях девушек. Уже около года я мечтал, что вот я, хорошо одетый,

сигу в экипаже рядом с красивой женщиной, разыгрываю роль знатного господина, обедаю у Вэри, а вечером еду в театр и возвращаюсь домой только на следующий день, придумав для отца историю более запутанную, чем интрига "Женитьбы Фигаро", -- и он так ничего и не поймет в моих объяснениях. Все это счастье я оценивал в пятьдесят экю. Не находился ли я все еще под наивным обаянием пропущенных уроков в школе? И вот я вошел в будуар, где никого не было, глаза у меня горели, дрожащими пальцами я украдкой пересчитал деньги моего отца: сто экю! Все преступные соблазны, воскрешенные этой суммой, заплясали предо мною, как макбетовские ведьмы вокруг котла, но только обольстительные, трепетные, чудные! Я решился на мошенничество. Не слушая, как зазвенело у меня в ушах, как бешено заколотилось сердце, я взял две двадцатифранковые монеты, -- я вижу их как сейчас! На них кривилось изображение Бонапарта, а год уже стерся. Положив кошелек в карман, я подошел к игорному столу и, зажав в потной руке две золотые монеты, стал кружить около игроков, как ястреб над курятником. Чувствуя себя во власти невыразимой тоски, я окинул всех пронзительным и быстрым взглядом. Убедившись, что никто из знакомых меня не видит, я присоединил свои деньги к ставке низенького веселого толстяка и произнес над его головой столько молитв и обетов, что их хватило бы на три морских бури. Затем, движимый инстинктом преступности или же макиавеллизма, удивительным в мои годы, я стал у двери, устремив невидящий взгляд сквозь анфиладу зал. Моя душа и мой взор витали вокруг рокового зеленого сукна. В тот вечер я проделал первый опыт в области физиологических наблюдений, которым я обязан чем-то вроде ясновидения, позволившего мне постигнуть некоторые тайны двойственной нашей природы. Я повернулся спиной к столу, где решалось мое будущее счастье -- счастье тем более, может быть, полное, что оно было преступным; от двух понтирующих игроков меня отделяла людская стена -- четыре или пять рядов зрителей; гул голосов мешал мне различить звон золота, сливавшийся со звуками музыки; но, несмотря на все эти препятствия, пользуясь той привилегией страстей, которая наделяет их способностью преодолевать пространство и время, я ясно слышал слова обоих игроков, знал, сколько у каждого очков, понимал расчет того игрока, который открыл короля, и как будто видел его карты; словом, в десяти шагах от карточного стола я бледнел от случайностей игры. Вдруг мимо меня прошел отец, и тут я понял слова писания:

"Дух Господень прошел пред лицом его". Я выиграл.

Сквозь толпу, наседавшую на игроков, я протиснулся к столу с ловкостью угря, выскальзывающего из сети через прорванную петлю. Мучительное чувство сменилось восторгом. Я был похож на осужденного, который, уже идя на казнь, получил помилование. Случилось, однако же, что какой-то господин с орденом потребовал недостающие сорок франков. Все взоры подозрительно уставились на меня, -- я побледнел, капли пота выступили у меня на лбу. Мне казалось, я получил возмездие за кражу отцовских денег. Но тут добрый толстяк сказал голосом поистине ангельским: "Все поставили" -- и заплатил сорок франков. Я поднял голову и бросил на игроков торжествующий взгляд. Положив в кошелек отца взятую оттуда сумму, я предоставил свой выигрыш этому порядочному и честному человеку, и тот продолжал выигрывать. Как только я стал обладателем ста шестидесяти франков, я завернул их в носовой платок, так, чтобы они не звякнули дорогой, и больше уже не играл.

-- Что ты делал у игорного стола? -- спросил отец, садясь в фиакр.

-- Смотрел, -- с дрожью отвечал я.

-- А между тем, -- продолжал отец, -- не было бы ничего удивительного,

если бы самолюбие толкнуло тебя сколько-нибудь поставить. В глазах людей светских ты в таком возрасте, что вправе уже делать глупости. Да, Рафаэль, я извинил бы тебя, если бы ты воспользовался моим кошельком...

Я промолчал. Дома я подал отцу ключи и деньги. Пройдя к себе, он высыпал содержимое кошелька на камин, пересчитал золото, обернулся ко мне с видом довольно благосклонным и заговорил, делая после каждой фразы более или менее долгую и многозначительную паузу:

-- Сын мой, тебе скоро двадцать лет. Я тобой доволен. Тебе нужно назначить содержание, хотя бы для того, чтобы ты научился быть бережливым и разбираться в житейских делах. Я буду тебе выдавать сто франков в месяц. Располагай ими по своему усмотрению. Вот тебе за первые три месяца, -- добавил он, поглаживая столбик золота, как бы для того, чтобы проверить сумму.

Признаюсь, я готов был броситься к его ногам, объявить ему, что я разбойник, негодяй и, еще того хуже, -- лжец! Меня удержал стыд. Я хотел обнять отца, он мягко отстранил меня.

-- Теперь ты мужчина, дитя мое, -- сказал он. -- Решение мое просто и справедливо, и тебе не за что благодарить меня. Если я имею право на твою признательность, Рафаэль, -- продолжал он тоном мягким, но исполненным достоинства, -- так это за то, что я уберег твою молодость от несчастий, которые губят молодых людей в Париже. Отныне мы будем друзьями. Через год ты станешь доктором прав. Ценою некоторых лишений, не без внутренней борьбы ты приобрел основательные познания и любовь к труду, столь необходимые людям, призванным вести дела. Постарайся, Рафаэль, понять меня. Я хочу сделать из тебя не адвоката, не нотариуса, но государственного мужа, который составил бы гордость бедного нашего рода... До завтра! -- добавил он, отпуская меня движением, полным таинственности.

С этого дня отец стал откровенно делиться со мной своими планами. Я был его единственным сыном, мать моя умерла за десять лет до того. Не слишком дорожа своим правом -- со шпагой на боку обрабатывать землю, -- мой отец, глава исторического рода, почти уже забытого в Оверни, некогда прибыл в Париж попытать счастья. Одаренный тонким умом, благодаря которому уроженцы юга Франции становятся людьми выдающимися, если только ум соединяется у них с энергией, он, без особой поддержки, занял довольно важный пост. Революция вскоре расстроила его состояние, но он успел жениться на девушке с богатым приданым и во времена Империи достиг того, что род наш приобрел свой прежний блеск. Реставрация вернула моей матери значительную долю ее имущества, но разорила моего отца. Скупив в свое время земли, находившиеся за границей, которые император подарил своим генералам, он уже десять лет боролся с ликвидаторами и дипломатами, с судами прусскими и баварскими, добиваясь признания своих прав на эти злополучные владения. Отец бросил меня в безвыходный лабиринт этого затянувшегося процесса, от которого зависело наше будущее. Суд мог взыскать с нас сумму полученных нами доходов, мог присудить нас и к уплате за порубки, произведенные с 1814 по 1817 год, -- в этом случае имений моей матери едва хватило бы на то, чтобы спасти честь нашего имени. Итак, в тот день, когда отец, казалось, даровал мне в некотором смысле свободу, я очутился под самым нестерпимым ярмом. Я должен был сражаться, как на поле битвы, работать день и ночь, посещать государственных деятелей, стараться усыпить их совесть, пытаться заинтересовать их материально в нашем деле, прельщать их самих, их жен, их слуг, их псов и, занимаясь этим отвратительным ремеслом, облекать все в изящную форму, сопровождать милыми шутками. Я постиг все горести, от которых поблекло лицо

моего отца. Около года я вел по видимости светский образ жизни, но старания завязать связи с преуспевающими родственниками или с людьми, которые могли быть нам полезны, рассеянная жизнь -- все это стоило мне нескончаемых хлопот. Мои развлечения в сущности были все теми же тяжбами, а беседы -- докладными записками. До тех пор я был добродетелен в силу невозможности предаться страстям молодости, но с этого времени, боясь какую-нибудь оплошностью разорить отца или же самого себя, я стал собственным своим деспотом, я не позволял себе никаких удовольствий, никаких лишних расходов. Пока мы молоды, пока, соприкасаясь с нами, люди и обстоятельства еще не похитили у нас нежный цветок чувства, свежесть мысли, благородную чистоту совести, не позволяющую нам вступать в сделки со злом, мы отчетливо сознаем наш долг, честь говорит в нас громко и заставляет себя слушать, мы откровенны и не прибегаем к уловкам, -- таким я и был тогда. Я решил оправдать доверие отца; когда-то я с восторгом похитил у него ничтожную сумму, но теперь, неся вместе с ним бремя его дел, его имени, его рода, я тайком отдал бы ему мое имущество, мои надежды, как жертвовал для него своими наслаждениями, -- и был бы даже счастлив, принося эти жертвы! И вот, когда господин де Виллель, будто нарочно для нас, откопал императорский декрет о потере прав и разорил нас, я подписал акт о продаже моих земель, оставив себе только не имеющий ценности остров на Луаре, где находилась могила моей матери. Сейчас, быть может, у меня не оказалось бы недостатка в аргументах и уловках, в рассуждениях философических, филантропических и политических, которые удержали бы меня от того, что мой поверенный называл глупостью; но в двадцать один год, повторяю, мы -- воплощенное великодушие, воплощенная пылкость, воплощенная любовь. Слезы, которые я увидел на глазах у отца, были для меня тогда прекраснейшим из богатств, и воспоминание об этих слезах часто служило мне утешением в нищете. Через десять месяцев после расплаты с кредиторами мой отец умер от горя: он обожал меня -- и разорил! Мысль об этом убила его. В 1826 году, в конце осени, я, двадцати двух лет от роду, совершенно один провожал гроб моего первого друга -- моего отца. Не много найдется молодых людей, которые так бы шли за похоронными дрогами -- оставшись одинокими со своими мыслями, затерянные в Париже, без средств, без будущего. У сирот, подобранных общественной благотворительностью, есть по крайней мере такое будущее, как поле битвы, такой отец, как правительство или же королевский прокурор, такое убежище, как приют. У меня не было ничего! Через три месяца оценщик вручил мне тысячу сто двенадцать франков -- все, что осталось от ликвидации отцовского наследства. Кредиторы принудили меня продать нашу обстановку. Привыкнув с юности высоко ценить окружавшие меня предметы роскоши, я не мог не выразить удивления при виде столь скудного остатка.

-- Да уж очень все это было рококо! -- сказал оценщик.

Ужасные слова, от которых поблекли все верования моего детства и рассеялись первые, самые дорогие из моих иллюзий. Мое состояние заключалось в описи проданного имущества, мое будущее лежало в полотняном мешочке, содержавшем в себе тысячу сто двенадцать франков; единственным представителем общества являлся для меня оценщик, который разговаривал со мной, не снимая шляпы... Обожавший меня слуга Ионафан, которому моя мать обеспечила когда-то пожизненную пенсию в четыреста франков, сказал мне, покидая дом, откуда ребенком я не раз весело выезжал в карете:

-- Будьте как можно бережливее, сударь. Он плакал, славный старик!

Таковы, милый мой Эмиль, события, которые сломали мою судьбу, на иной лад настроили мою душу и поставили меня, еще юношу, в крайне ложное

социальное положение, -- немного помолчав, заговорил Рафаэль. -- Узами родства, впрочем слабыми, я был связан с несколькими богатыми домами, куда меня не пустила бы моя гордость, если бы еще раньше людское презрение и равнодушие не захлопнули перед моим носом дверей. Хотя родственники мои были особы весьма влиятельные и охотно покровительствовали чужим, я остался без родных и без покровителей. Беспреданно наталкиваясь на преграды в своем стремлении излиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я поневоле стал холодным и скрытным; деспотизм отца лишил меня всякой веры в себя; я был робок и неловок, мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Вопреки тому внутреннему голосу, который, вероятно, поддерживает даровитых людей в их борениях и который кричал мне: "Смелей! Вперед! "; вопреки внезапному ощущению силы, которую я иногда испытывал в одиночестве, вопреки надежде, окрылявшей меня, когда я сравнивал сочинения новых авторов, восторженно встреченных публикой, с теми, что рисовались в моем воображении, -- я, как ребенок, был не уверен в себе. Я был жертвою чрезмерного честолюбия, я полагал, что рожден для великих дел, -- и прозябал в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях -- и не имел друзей. Я должен был пробить себе дорогу в свете -- и томился в одиночестве, скорее из чувства стыда, нежели страха. В тот год, когда отец бросил меня в вихрь большого света, я принес туда нетронутое сердце, свежую душу. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. Среди моих сверстников я встретил кружок фанфаронов, которые ходили задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживались к тем женщинам, что казались мне особенно недоступными, всем говорили дерзости, покусывая набалдашник трости, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, уверяли, правдиво или лживо, что им доступна любая постель, напускали на себя такой вид, как будто они пресыщены наслаждениями и сами от них отказываются, смотрели на женщин самых добродетельных и стыдливых как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова, при мало-мальски смелом натиске, в ответ на первый бесстыдный взгляд! Говорю тебе по чистой совести и положи руку на сердце, что завоевать власть или крупное литературное имя представлялось мне победой менее трудной, чем иметь успех у женщины из высшего света, молодой, умной и изящной. Словом, сердечная моя тревога, мои чувства, мои идеалы не согласовывались с правилами светского общества. Я был смел, но в душе, а не в обхождении. Позже я узнал, что женщины не любят, когда у них вымалывают взаимность; многих обожал я издали, ради них я пошел бы на любое испытание, отдал бы свою душу на любую муку, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий, а они избирали любовниками дураков, которых я не взял бы в швейцары. Сколько раз, немой и неподвижный, любовался я женщиной моих мечтаний, появлявшейся на балу; мысленно посвящая свою жизнь вечным ласкам, я в едином взоре выражал все свои надежды, предлагал ей в экстазе юношескую свою любовь, стремившуюся навстречу обманам. В иные минуты я жизнь свою отдал бы за одну ночь. И что же? Не находя ушей, готовых выслушать страстные мои признания, взоров, в которые я мог бы погрузить свои взоры, сердца, бьющегося в ответ моему сердцу, я, то ли по недостатку смелости, то ли потому, что не представлялось случая, то ли по своей неопытности, испытывал все муки бессильной энергии, пожиравшей самое себя. Быть может, я потерял надежду, что меня поймут, или боялся, что меня слишком хорошо поймут. А между тем в душе у меня поднималась буря при первом же любезном взгляде, обращенном на меня. Несмотря на свою готовность сразу же истолковать этот взгляд или слова, по видимости благосклонные, как зов нежности, я то не

осмеливался заговорить, то не умел вовремя умолкнуть. От избытка глубокого чувства я говорил ничего не значащие слова и даже молчание мое становилось глупым. Разумеется, я был слишком наивен для того искусственного общества, где люди живут напоказ, выражают свои мысли условными фразами или же словами, продиктованными модой. К тому же я совсем неспособен был к ничего не говорящему красноречию и красноречивому молчанию. Словом, хотя во мне кипели страсти, хотя я и обладал именно такой душой, встретить которую обычно мечтают женщины, хотя я находился в экзальтации, которой они так жаждут, и полон был той энергии, которой хвалятся глупцы, -- все женщины были со мной предательски жестоки. Вот почему я наивно восхищался всеми, кто в дружеской беседе трубил о своих победах, и не подозревал их во лжи. Конечно, я был не прав, ожидая столкнуться в этом кругу с искренним чувством, желая найти сильную и глубокую страсть в сердце женщины легкомысленной и пустой, жадной до роскоши и опьяненной светской суетой -- найти ту безбрежную страсть, тот океан, волны которого бушевали в моем сердце. О, чувствовать, что ты рожден для любви, что можешь составить счастье женщины, и никого не найти, даже смелой и благородной Марселины[*], даже какой-нибудь старой маркизы! Нести в котомке сокровища и не встретить ребенка, любопытной девушки, которая полюбовалась бы ими! В отчаянии я не раз хотел покончить с собой.

-- Ну и трагичный выдался вечер! -- заметил Эмиль.

-- Ах, не мешай мне вершить суд над моей жизнью! -- воскликнул Рафаэль.

-- Если ты не в силах из дружбы ко мне слушать мои элегии, если ты не можешь ради меня поскучать полчаса, тогда спи! Но в таком случае не спрашивай меня о моем самоубийстве, а оно ропщет, витает передо мною, зовет меня, и я приветствую его. Чтобы судить о человеке, надо по крайней мере проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений. Проявлять интерес только к внешним событиям его жизни -- это все равно, что составлять хронологические таблицы, писать историю на потребу и во вкусе глупцов.

Горечь, звучавшая в тоне Рафаэля, поразила Эмиля, и, уставив на него изумленный взгляд, он весь превратился в слух.

-- Но теперь, -- продолжал рассказчик, -- все эти события выступают в ином свете. Пожалуй, тот порядок вещей, прежде казавшийся мне несчастьем, и развил во мне прекрасные способности, которыми впоследствии я гордился. Разве не философской любознательности и чрезвычайной трудоспособности, любви к чтению -- всему, что с семилетнего возраста вплоть до первого выезда в свет наполняло мою жизнь, -- обязан я тем, что так легко, если верить вам, умею выражать свои идеи и идти вперед по обширному полю человеческого знания? Не одиночество ли, на которое я был обречен, не привычка ли подавлять свои чувства и жить внутреннею жизнью наделили меня умением сравнивать и размышлять? Моя чувствительность, затерявшись в волнениях света, которые принижают даже прекраснейшую душу и делают из нее какую-то тряпку, ушла в себя настолько, что стала совершенным органом воли, более возвышенной, чем жажда страсти? Не признанный женщинами, я, помню, наблюдал их с пронизательностью отвергнутой любви. Теперь-то я понимаю, что моя бесхитростность не могла их привлекать! Вероятно, женщинам даже нравится в нас некоторое притворство. В течение одного часа я могу быть мужчиной и ребенком, ничтожеством и мыслителем, могу быть свободным от предрассудков и полным суеверий, часто я бываю не менее женственным, чем сами женщины, -- а коли так, то не было ли у них оснований принимать мою наивность за цинизм и самую чистоту моих мыслей за развращенность? Мои знания в их глазах были скукой, женственная томность -- слабостью. Чрезвычайная живость моего

воображения, это несчастье поэтов, давала, должно быть, повод считать меня неспособным на глубокое чувство, неустойчивым, вялым. Когда я молчал, то молчал по-дурацки, когда же старался понравиться, то, вероятно, только пугал женщин -- и они меня отвергли. Приговор, вынесенный светом, стоил мне горьких слез. Но это испытание принесло свои плоды. Я решил отомстить обществу, я решил овладеть душою всех женщин; властвуя над умами, добиться того, чтобы все взгляды обращались на меня, когда мое имя произнесет лакей в дверях гостиной. Еще в детстве я решил стать великим человеком, и, ударяя себя по лбу, я говорил, как Андре Шенье: "Здесь кое-что есть!" Я как будто чувствовал, что во мне зреет мысль, которую стоит выразить, система, достойная быть обоснованной, знания, достойные быть изложенными. О милый мой Эмиль, теперь, когда мне только что минуло двадцать шесть лет, когда я уверен, что умру безвестным, не сделавшись любовником женщины, о которой я мечтал, позволь мне рассказать о моих безумствах! Кто из нас, в большей или меньшей степени, не принимал желаемое за действительное? О, я бы не хотел иметь другом юношу, который в мечтах не украшал себя венком, не воздвигал себе пьедестала, не наслаждался в обществе сговорчивых любовниц! Я часто бывал генералом, императором; я бывал Байроном, потом -- ничем. Поиграв на вершине человеческой славы, я замечал, что все горы, все трудности еще впереди. Меня спасло беспредельное самолюбие, кипевшее во мне, прекрасная вера в свое предназначение, способная стать гениальностью, если только человек не допустит, чтобы душу его трепали мелочи жизни, подобно тому как колючки кустарника вырывают у проходящей мимо овцы клоки шерсти. Я решил достигнуть славы, решил трудиться в тишине ради своей будущей возлюбленной. Все женщины заключались для меня в одной, и этой женщиной мне казалась первая же встреча; я в каждой видел царицу и считал, что, как царицы, вынужденные первыми делать шаг к сближению со своими возлюбленными, они должны были идти навстречу мне, робкому, несчастному бедняку. О, для той, которая пожалела бы меня, в моем сердце, помимо любви, нашлось бы столько благодарного чувства, что я боготворил бы ее всю жизнь! Впоследствии наблюдения открыли мне жестокую истину. И я рисковал, дорогой Эмиль, навеки остаться одиноким. Женщины, в силу какого-то особого склада своего ума, обычно видят в человеке талантливом только его недостатки, а в дураке -- только его достоинства; к достоинствам дурака они питают большую симпатию, ибо те льстят их собственным недостаткам, тогда как счастье, которое им может дать человек одаренный, стоящий выше их, не возмещает им его несовершенств. Талант -- это перемежающаяся лихорадка, и у женщин нет охоты делить только его тяготы, -- все они смотрят на своих любовников как на средство, для удовлетворения своего тщеславия. Самих себя -- вот кого они любят в нас! А разве в человеке бедном, в гордом художнике, наделенном способностью творить, нет оскорбительного эгоизма? Вокруг него какой-то вихрь мыслей, в который вовлекается все, даже его любовница. Может ли женщина, избалованная поклонением, поверить в любовь такого человека? Такому любовнику некогда предаваться на диванах нежному кривлянию, на которое так падки женщины и в котором преуспевают мужчины лживые и бесчувственные. Ему не хватает времени на работу, -- так станет ли он его тратить на сюсюканье и прихорашивание? Я был готов отдать свою жизнь целиком, но не способен был разменивать ее на мелочи. Словом, угодничество биржевого маклера, исполняющего поручения какой-нибудь томной жеманницы, ненавистно художнику. Человеку бедному и великому недостаточно половинчатой любви, -- он требует полного самопожертвования. У мелких созданий, которые всю жизнь проводят в том, что примеряют кашемировые шали и становятся вешалками для модных

товаров, не встретить готовности к самопожертвованию, они требуют его от других, -- в любви они жаждут властвовать, а не покорствоваться. Истинная супруга, супруга по призванию, покорно следует за тем, в ком полагает она свою жизнь, силу, славу, счастье. Людям одаренным нужна восточная женщина, единственная цель которой -- предупреждать желания мужа, ибо все несчастье одаренных людей состоит в разрыве между их стремлениями и возможностью их осуществлять. Я же, считая себя гениальным человеком, любил именно щеголих. Вынашивая идеи, столь противоположные общепринятым; собираясь без лестницы взять приступом небо; обладая сокровищами, не имевшими хождения; вооруженный знаниями, которые, отягощая мою память, еще не успели прийти в систему, еще не были мною глубоко усвоены; без родных, без друзей, один среди ужаснейшей из пустынь -- пустыни мощеной, пустыни одушевленной, мыслящей, живой, где вам все враждебно или, больше того, где все безучастно, -- я принял естественное, хотя и безумное решение; в нем заключалось нечто невозможное, но это и придавало мне бодрости. Я точно сам с собой держал пари, в котором сам же я был и игроком и залогом. Вот мой план. Тысячи ста франков должно было мне хватить на три года жизни, и этот именно срок я назначил себе для выпуска в свет сочинения, которое привлекло бы ко мне внимание публики, дало бы мне возможность разбогатеть или составить себе имя. Меня радовала мысль, что я, точно фиваидский отшельник, буду питаться хлебом и молоком, среди шумного Парижа погружусь в уединенный мир книг и идей, в сферу труда и молчания, где, как куколка бабочки, я построю себе гробницу, чтобы возродиться в блеске и славе. Чтобы жить, я готов был рискнуть самой жизнью. Решив ограничить себя лишь самым насущным, лишь строго необходимым, я нашел, что трехсот шестидесяти пяти франков в год мне будет достаточно для существования. И в самом деле, этой скудной суммы мне хватало на жизнь, покуда я придерживался своего поистине монастырского устава.

-- Это невозможно! -- вскричал Эмиль.

-- Я прожил так почти три года, -- с некоторой гордостью ответил Рафаэль. -- Давай сочтем! На три су -- хлеба, на два -- молока, на три -- колбасы; с голоду не умрешь, а дух находится в состоянии особой ясности. Можешь мне поверить, я на себе испытал чудесное действие, какое пост производит на воображение. Комната стоила мне три су в день, за ночь я сжигал на три су масла, уборку делал сам, рубашки носил фланелевые, чтобы на прачку тратить не больше двух су в день. Комнату отапливал я каменным углем, стоимость которого, если разделить ее на число дней в году, никогда не превышала двух су. Платья, белья, обуви мне должно было хватить на три года, -- я решил прилично одеваться, только если надо было идти на публичные лекции или же в библиотеку. Все это в общей сложности составляло восемнадцать су, -- два су мне оставалось на непредвиденные расходы. Я не припомню, чтобы за этот долгий период работы я хоть раз прошел по мосту Искусств или же купил у водовоза воды: я ходил за ней по утрам к фонтану на площади Сен-Мишель, на углу улицы де-Грэ. О, я гордо переносил свою бедность! Кто предугадывает свое прекрасное будущее, тот ведет нищенскую жизнь так же, как невинно осужденный идет на казнь, -- ему не стыдно. Возможность болезни я предусматривать не хотел. Подобно Акилине, я думал о больнице спокойно. Ни минуты не сомневался я в своем здоровье. Впрочем, бедняк имеет право слезь только тогда, когда он умирает. Я коротко стриг себе волосы до тех пор, пока ангел любви или доброты... Но не стану раньше времени говорить о событиях, до которых мы скоро дойдем. Заметь только, милый мой друг, что, не имея возлюбленной, я жил великой мыслью, мечтою, ложью, в которую все мы вначале более или менее верим. Теперь я

смеюсь над самим собою, над тем моим "я", быть может, святым и прекрасным, которое не существует более. Общество, свет, наши нравы и обычаи, наблюдаемые вблизи, показали мне всю опасность моих невинных верований, всю бесплодность ревностных моих трудов. Такая запасливость не нужна честолюбцу. Кто отправляется в погоню за счастьем, не должен обременять себя багажом! Ошибка людей одаренных состоит в том, что они растрачивают свои юные годы, желая стать достойными милости судьбы. Покуда бедняки копят силы и знания, чтобы в будущем легко было нести бремя могущества, ускользающего от них, интриганы, богатые словами и лишённые мыслей, шныряют повсюду, поддевая на удочку дураков, влезают в доверие у простофиль; одни изучают, другие продвигаются; те скромны -- эти решительны; человек гениальный таит свою гордость, интриган выставляет ее напоказ, он непременно преуспеет. У власть имущих так сильна потребность верить заслугам, бьющим в глаза, таланту наглому, что со стороны истинного ученого было бы ребячеством надеяться на человеческую благодарность. Разумеется, я не собираюсь повторять общие места о добродетели, ту песнь песней, что вечно поют непризнанные гении; я лишь хочу логическим путем вывести причину успеха, которого так часто добиваются люди посредственные. Увы, наука так матерински добра, что, пожалуй, было бы преступлением требовать от нее иных наград, помимо тех чистых и тихих радостей, которыми питает она своих сынов. Помню, как весело, бывало, я завтракал хлебом с молоком, вдыхая воздух у открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные, поросшие желтым или зеленым мхом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть. По вечерам полосы света, пробивавшегося из-за неплотно прикрытых ставней, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей бросали снизу свой желтоватый свет и слабо означали вдоль улиц извилистую линию скученных крыш, океан неподвижных волн. Иногда в этой мрачной пустыне появлялись редкие фигуры: между цветами какого-нибудь воздушного садика я различал угловатый, загнутый крючком профиль старухи, которая поливала настурции; или же у чердачного окна с полусгнившею рамой молодая девушка, не подозревая, что на нее смотрят, занималась своим туалетом, и я видел только прекрасный ее лоб и длинные волосы, приподнятые красивой белою рукой. Я любовался хилой растительностью в водосточных желобах, бедными травинками, которые скоро уносил ливень. Я изучал, как мох то становился ярким после дождя, то, высыхая на солнце, превращался в сухой бурый бархат с причудливыми отливами. Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами -- все явления этой необычайной природы стали для меня привычны и развлекали меня. Я любил свою тюрму, -- ведь я находился в ней по доброй воле. Эта парижская пустынная степь, образуемая крышами, похожая на голую равнину, но таящая под собою населенные бездны, подходила к моей душе и гармонировала с моими мыслями. Утомительно бывает, спустившись с божественных высот, куда нас увлекают науки, вдруг очутиться лицом к лицу с житейской суетою, -- оттого-то я в совершенстве постиг тогда наготу монастырских обитателей. Твердо решив следовать новому плану жизни, я стал искать себе комнату в самых пустынных кварталах Парижа. Как-то вечером, возвращаясь домой с Эстрапады, я проходил по улице Кордье. На углу улицы Клюни я увидел девочку лет четырнадцати, -- она играла с подругой в волан, забавляя жителей соседних домов своими шалостями и смехом. Стояла прекрасная погода, вечер выдался теплый, -- был еще только конец сентября. У дверей

сидели женщины и болтали, как где-нибудь в провинциальном городке в праздничный день. Сперва я обратил внимание только на девочку, на ее чудесное в своей выразительности лицо и фигурку, созданную для художника. Это была очаровательная сцена. Затем я попытался уяснить себе, откуда в Париже такая простота нравов, и заметил, что улица эта -- тупик и прохожие здесь, очевидно, редки. Вспомнив, что в этих местах жил Жан-Жак Руссо, я нашел гостиницу "Сен-Кантен"; запущенный ее вид подал мне надежду найти недорогую комнату, и я решил туда заглянуть. Войдя в помещение с низким потолком, я увидел классические медные подсвечники с сальными свечами, выстроившиеся на полочке, каждый над своим ключом от комнаты, и я был поражен чистотой, царившей в этой зале, -- обычно подобные комнаты не отличаются особой опрятностью, а здесь все было вылизано, точно на жанровой картине; в голубой кровати, утвари, мебели было что-то кокетливое, свойственное условной живописи. Хозяйка гостиницы -- женщина лет сорока, судя по ее лицу испытавшая в жизни горе и пролившая немало слез, от которых и потускнели ее глаза, -- встала и подошла ко мне; я смиренно сообщил, сколько могу платить за квартиру; не выразив никакого удивления, она выбрала ключ, отвела меня в мансарду и показала комнату с видом на крыши и на двory соседних домов, где из окон были протянуты длинные жерди с развешанным на них бельем. Как ужасна была эта мансарда с желтыми грязными стенами! От нее так и пахло на меня нищетой уединенного приюта, подходящего для бедняка ученого. Кровля на ней шла покато, в щели между черепицами сквозило небо. Здесь могли поместиться кровать, стол, несколько стульев, а под острым углом крыши нашлось бы место для моего фортепьяно. Не располагая средствами, чтобы обставить эту клетку, не уступающую венецианским "свинцовым камерам", бедная женщина никому не могла ее сдать. Из недавней распродажи имущества я изъясил вещи, до некоторой степени являвшиеся моею личною собственностью, а потому быстро сговорился с хозяйкой и на другой же день поселился у нее. Я прожил в этой воздушной гробнице три года, работал день и ночь не покладая рук с таким наслаждением, что занятия казались мне прекраснейшим делом человеческой жизни, самым удачным решением ее задачи. В необходимых ученому спокойствии и тишине есть нечто нежное, упоительное, как любовь. Работа мысли, поиски идей, мирная созерцательность науки дарит нам неизъяснимые наслаждения, не поддающиеся описанию, как все то, что связано с деятельностью разума, неприметной для наших внешних чувств. Поэтому мы всегда вынуждены объяснять тайны духа сравнениями материальными. Наслаждение, какое испытываешь, плывя один по прозрачному озеру среди скал, лесов и цветов, ощущая ласку теплого ветерка, даст людям, чуждым науке, лишь слабое понятие о том счастье, какое испытывал я, когда душа моя купалась в лучах какого-то света, когда я слушал грозный и невнятный голос вдохновения, когда из неведомого источника струились образы в мой трепещущий мозг. Созерцать, как, словно солнечный свет поутру, брезжит идея за полем человеческих абстракций и поднимается, как солнце, или, скорее, растет, как ребенок, достигает зрелости, постепенно мужает, -- эта радость выше всех земных радостей, вернее сказать, это -- наслаждение божественное. Научные занятия сообщают нечто волшебное всему, что нас окружает. Жалкое бюро, на котором я писал, покрывавший его коричневый сафьян, фортепьяно, кровать, кресло, причудливо выцветшие от времени обои, мебель -- все они стали одушевленными смиренными моими друзьями, молчаливыми соучастниками моего будущего: сколько раз изливал я им душу, глядя на них! Часто, водя глазами по покоробившейся резьбе, я нападал на новые пути, на какое-нибудь поразительное доказательство моей системы или же на правильные слова,

которые, как мне казалось, удачно выражали почти непередаваемые мысли. Созерцая окружающие предметы, я стал различать у каждого его физиономию, его характер, они часто разговаривали со мной; когда беглый луч заката проникал ко мне через узкое оконце, они окрашивались, бледнели, сверкали, становились унылыми или же веселыми, поражая меня все новыми эффектами. Такие малые события уединенной жизни, ускользающие от суетного света, и составляют утешение заключенных. Ведь я был пленником идеи, узником системы, -- правда, неунывающим узником, ибо впереди у меня была жизнь, полная славы! Преодолев какую-нибудь трудность, я всякий раз целовал нежные руки женщины с чудными глазами, нарядной и богатой, которой предназначено было в один прекрасный день гладить мои волосы, ласково приговаривая: "Ты много страдал, бедный мой ангел! " Я начал два больших произведения. Моя комедия должна была в короткий срок составить мне имя и состояние, открыть доступ в свет, где я желал появиться вновь, пользуясь царственными правами гения. В этом шедевре вы все увидели первую ошибку юноши, только что окончившего коллеж, настоящий ребяческий вздор. Ваши насмешки подрезали крылья плодотворным иллюзиям, с тех пор более не пробуждавшимся. Ты один, милый мой Эмиль, уврачевал глубокую рану, которую другие нанесли моему сердцу! Ты один пришел в восторг от моей "Теории воли", обширного произведения, для которого я изучил восточные языки, анатомию, физиологию, которому я посвятил столько времени. Думаю, что оно дополнит работы Месмера, Лафатера, Галля, Биша и откроет новый путь науке о человеке. На этом кончается моя прекрасная жизнь, каждодневное жертвоприношение, невидимая миру работа шелкового червя, в себе самой заключающая, быть может, и единственную награду. С начала моего сознательного существования вплоть до того дня, когда я окончил мою "Теорию", я наблюдал, изучал, писал, читал без конца, и жизнь моя была сплошным выполнением повинности. Женственный любовник восточной лени, чувственный, влюбленный в свои мечты, я не знал отдыха и не разрешал себе отведать наслаждений парижской жизни. Лакомка -- я принудил себя к умеренности; любитель бродить пешком и плавать в лодке по морю, мечтавший побывать в разных странах, до сих пор с удовольствием, как ребенок, бросавший камешки в воду, -- теперь я, не разгибая спины, сидел за письменным столом; словоохотливый -- я молча слушал публичные лекции в библиотеке и музее; я спал на одиноком и жалком ложе, точно монах-бенедиктинец, а между тем женщина была моей мечтою -- мечтою заветной и вечно ускользавшей от меня! Одним словом, жизнь моя была жестоким противоречием, непрерывной ложью. Вот и судите после этого о людях! По временам природные мои склонности разгорались, как долго тлевший пожар. Меня, не знавшего женщин, которых я так жаждал, нищего обитателя студенческой мансарды, точно марево, точно образы горячего бреда, окружали обольстительные любовницы! Я носился по улицам Парижа на мягких подушках роскошного экипажа! Меня снедали пороки, я погружался в разгул, я всего желал и всего добивался; я был пьян без вина, как святой Антоний в часы искушений. По счастью сон в конце концов гасил испепеляющие эти видения; а утром наука, улыбаясь, снова призывала меня, и я был ей верен. Думаю, что женщины, слышущие добродетельными, часто бывают во власти таких безумных вихрей желаний и страстей, поднимающихся в нас помимо нашей воли. Подобные мечты не лишены некоторой прелести, -- не напоминают ли они беседу зимним вечером, когда, сидя у очага, совершаешь путешествие в Китай? Но во что превращается добродетель во время этих очаровательных путешествий, когда мысленно преодолеваешь все препятствия! Первые десять месяцев моего заключения я влачил ту убогую и одинокую жизнь, какую я тебе описал; по

утрам, стараясь остаться незамеченным, я выходил купить себе что-нибудь из еды, сам убирал комнату, был в одном лице и господином и слугою, диогенствовал[*] с невероятной гордостью. Но затем, после того как хозяйка и ее дочь изучили мой нрав и мои привычки, понаблюдали за мною, они поняли, как я беден, и, быть может, благодаря тому, что и сами они были очень несчастны, мы неизбежно должны были познакомиться ближе. Полина, очаровательное создание, чья наивная и еще не раскрывшаяся прелесть отчасти и привлекла меня туда, оказывала мне услуги, отвергнуть которые я не мог. Все бедные доли -- сестры, у них одинаковый язык, одинаковое великодушие -- великодушие тех, кто, ничего не имея, щедр на чувство и жертвует своим временем и собою самим. Незаметно Полина стала у меня хозяйкой, она пожелала прислуживать мне, и ее мать несколько тому не противилась. Я видел, как сама мать чинила мое белье, и, сострадательная душа, она краснела, когда я заставлял ее за этим добрым делам. Помимо моей воли, они взяли меня под свое покровительство, и я принимал их услуги. Чтобы понять эту особую привязанность, надо знать, какое увлечение работой, какую тиранию идей и какое инстинктивное отвращение к мелочам повседневной жизни испытывает человек, живущий мыслью. Мог ли я противиться деликатному вниманию Полины, когда, заметив, что я уже часов восемь ничего не ел, она входила неслышными шагами и приносила мне скромный обед? По-женски грациозно и по-детски простодушно она, улыбаясь, делала мне знак, чтобы я не обращал на нее внимания. То был Ариэль, как сильф, скользнувший под мою кровлю и предупреждавший мои желания. Однажды вечером Полина с трогательной наивностью рассказала мне свою историю. Ее отец командовал эскадром конных гренадеров императорской гвардии. При переправе через Березину он был взят в плен казаками; впоследствии, когда Наполеон предложил обменять его, русские власти тщетно разыскивали его в Сибири; по словам других пленных, он бежал, намереваясь добраться до Индии. С тех пор госпоже Годэн, моей хозяйке, не удалось получить никаких известий о муже. Начались бедствия тысяча восемьсот четырнадцатого -- тысяча восемьсот пятнадцатого годов; оставшись одна, без средств и опоры, она решила держать меблированные комнаты, чтобы прокормить дочь. Госпожа Годэн все еще надеялась увидеть своего мужа. Тяжелее всего было для нее сознавать, что Полина не получит образования, ее Полина, крестница княгини Воргезе, Полина, которая непременно должна была оправдать предсказание высокой своей покровительницы, сулившее ей блестящую будущность. Когда госпожа Годэн поведала мне свою кручину и душераздирающим тоном, сказала: "Я охотно бы отдала клочок бумаги, возводящий Годэна в бароны, отдала и наши права на доходы с Вичнау, только бы знать, что Полина воспитывается в Сен-Дени!", я вздрогнул и в благодарность за заботу обо мне, на которую так щедры были мои хозяйки, решил предложить себя в воспитатели Полины. Чистосердечие, с которым они приняли мое предложение, равнялось наивности, которой оно было подсказано. Так появились у меня часы отдыха. У девочки были большие способности, она все так легко схватывала, что вскоре стала лучше меня играть на фортепьяно. Привыкнув думать при мне вслух, она обнаруживала прелестные качества души, раскрывающейся для жизни, как чашечка цветка постепенно раскрывается на солнце; она слушала меня внимательно и охотно, глядя на меня своими черными бархатными глазами, которые как будто улыбались; она повторяла за мной уроки своим нежным голосом и по-детски радовалась, когда я бывал доволен ею. Еще недавно ее мать была озабочена мыслью, как уберечь от опасностей свою дочь, оправдывавшую с возрастом все надежды, которые она подавала еще будучи очаровательным ребенком, а теперь госпожа Годэн была спокойна, видя, что

Полина занимается целыми днями. Так как к ее услугам было только мое фортепьяно, ей приходилось пользоваться для упражнений моими отлучками. Возвращаясь, я заставал у себя в комнате Полину, одетую самым скромным образом, но при малейшем движении гибкая талия и вся ее прелестная фигура вырисовывались под грубой тканью. Как у героини сказки про Ослиную кожу, крошечные ее ножки были обуты в грубые башмаки. Но все эти милые сокровища, все это богатство, вся прелесть девичьей красоты как бы не существовали для меня. Я заставлял себя видеть в Полине только сестру, мне было страшно обмануть доверие ее матери; я любовался обворожительной девушкой, как картиной, как портретом умершей возлюбленной; словом, она была моим ребенком, моей статуей. Новый Пигмалион[*], я хотел обратить в мрамор живую деву, с горячей кровью в жилах, чувствующую и говорящую; я бывал с нею очень суров, но чем больше я проявлял свой учительский деспотизм, тем мягче и покорнее становилась она. Сдержанностью и скромностью я был обязан благородству моих чувств, но тут не было недостатка и в рассуждениях, достойных прокурора. Я не представляю себе честности и в денежных делах без честности в мыслях. Обмануть женщину или разорить кого-либо для меня всегда было равносильно. Полюбить молодую девушку или поощрять ее любовь -- это все равно, что подписать настоящий брачный контракт, условия которого следует определить заранее. Мы вправе бросить продажную женщину, но нельзя покинуть молодую девушку, которая отдалась нам, ибо она не понимает всех последствий своей жертвы. Конечно, я мог бы жениться на Полине, но это было бы безумием. Не значило ли это подвергать нежную и девственную душу ужасающим мукам? Моя бедность говорила на эгоистическом языке и постоянно протягивала железную свою лапу между мною и этим добрым созданием. Притом, сознаюсь к стыду своему, я не понимаю любви в нищете. Пусть это от моей испорченности, которою я обязан болезни человечества, именуемой цивилизацией, но женщина -- будь она привлекательна, как прекрасная Елена, эта Галатее Гомера, -- не может покорить мое сердце, если она хоть чуть-чуть замарашка. Ах, да здравствует любовь в шелках и кашемире, окруженная чудесами роскоши, которые потому так чудесно украшают ее, что и сама она, может быть, роскошь! Мне нравится комкать в порыве страсти изысканные туалеты, мять цветы, заносить дерзновенную руку над красивым сооружением благоуханной прически. Горящие глаза, которые пронизывают скрывающую их кружевную вуаль, подобно тому как пламя прорывается сквозь пушечный дым, фантастически привлекательны для меня. Моей любви нужны шелковые лестницы, по которым возлюбленный безмолвно взбирается зимней ночью. Какое это наслаждение -- весь в снегу, тыходишь в комнату, слабо озаренную курильницами, обтянутую разрисованным шелком, и видишь женщину, тоже стряхивающую с себя снег, ибо как иначе назвать покровы из сладострастного муслина, сквозь которые она чуть заметно обрисовывается, как ангел сквозь облако, и из которых она сейчас высвободится? А еще мне необходимы и боязливое счастье и дерзкая уверенность. Наконец я хочу увидеть эту же таинственную женщину, но в полном блеске, в светском кругу, добродетельную, вызывающую всеобщее поклонение, одетую в кружева и блистающую бриллиантами, повелевающую целым городом, занимающую положение столь высокое, внушающую к себе такое уважение, что никто не осмелится поведать ей свои чувства. Окруженная своей свитой, она украдкой бросает на меня взгляд -- взгляд, ниспровергающий все эти условности, взгляд, говорящий о том, что ради меня она готова пожертвовать и светом и людьми! Разумеется, я столько раз сам смеялся над своим пристрастием к блондам, бархату, тонкому батисту, к фокусам парикмахера, к свечам, карете, титулу, геральдическим

коронам на хрустале, на золотых и серебряных вещах -- словом, над пристрастием ко всему деланному и наименее женственному в женщине; я глумился над собой, разубеждая себя, -- все было напрасно! Меня пленяет женщина-аристократка, ее тонкая улыбка, изысканные манеры и чувство собственного достоинства; воздвигая преграду между собою и людьми, она пробуждает все мое тщеславие, а это и есть наполовину любовь. Становясь предметом всеобщей зависти, мое блаженство приобретает для меня особую сладость. Если моя любовница в своем быту отличается от других женщин, если она не ходит пешком, если живет она иначе, чем они, если на ней манто, какого у них быть не может, если от нее исходит благоухание, свойственное ей одной, -- она мне нравится гораздо больше; и чем дальше она от земли даже в том, что есть в любви земного, тем прекраснее становится она в моих глазах. На мое счастье, во Франции уже двадцать лет нет королевы, иначе я влюбился бы в королеву! А чтобы иметь замашки принцессы, женщине нужно быть богатой. При таких романтических фантазиях чем могла быть для меня Полина? Могла ли она подарить мне ночи, которые стоят целой жизни, любовь, которая убивает и ставит на карту все человеческие способности? Ради бедных девушек, отдающихся нам, мы не умираем. Такие чувства, такие поэтические мечтания я не могу в себе уничтожить. Я был рожден для несбыточной любви, а случаю угодно было услужить мне тем, чего я вовсе не желал. Как часто я обувал в атлас крохотные ножки Полины, облакал ее стройную, как молодой тополь, фигуру в газовое платье, набрасывал ей на плечи легкий шарф, провожал ее, ступая по коврам ее особняка, и подсаживал в элегантный экипаж! Будь она такой, я бы ее обожал. Я наделял ее гордостью, которой у нее не было, отнимал у нее все ее достоинства, наивную прелесть, врожденное обаяние, простодушную улыбку, чтобы погрузить ее в Стикс наших пороков и наделить ее неуязвимым сердцем, чтобы приукрасить ее нашими преступлениями и сделать из нее взбалмошную салонную куклу, хрупкое создание, которое ложится спать утром и оживает вечером, когда загорается искусственный свет свечей. Полина была воплощенное чувство, воплощенная свежесть, а я хотел, чтобы она была суха и холодна. В последние дни моего безумия память воскресила мне образ Полины, как она рисует нам сцены нашего детства. Не раз я был растроган, вспоминая очаровательные минуты: то я снова видел, как эта девушка сидит у моего стола за шитьем, кроткая, молчаливая, сосредоточенная, а на ее прекрасные черные волосы ложится легким серебристым узором слабый дневной свет, проникающий в мое чердачное окно; то я слышал юный ее смех, слышал, как своим звонким голосом она распевает милые песенки, которые ей ничего не стоило придумать самой. Часто моя Полина воодушевлялась за музыкой, и тогда она была поразительно похожа на ту благородную головку, в которой Карло Дольчи хотел олицетворить Италию. Жестокая память вызывала чистый образ Полины среди безрассудств моего существования как некий укор, как образ добродетели! Но предоставим бедную девочку собственной ее участи! Как бы она потом ни была несчастлива, я по крайней мере спас ее от страшной бури -- я не увлек ее в мой ад. /.../

Оноре де Бальзак. Шагренева кожа
Перевод: Б. Грифцов
OCR: Владимир Луценко
Origin: <http://luschenkovi.chat.ru/balzac.htm>